

А. П. ЧЕХОВ
В ВОСПОМИНАНИЯХ
СОВРЕМЕННИКОВ

СБОРНИК

Под редакцией
А. К. КОТОВА

О Г И З
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1 9 4 7

АНТОН ПАВЛОВИЧ ЧЕХОВ

I

Кому повею печаль мою?

Антон Павлович Чехов приехал в Москву, — совсем, навсегда приехал. Быть может, правильнее сказать: вернулся в Москву, — в ту Москву, из которой уехал помимо воли, из-за болезни, и куда так неудержимо стремился все те семь-восемь лет, которые он прожил на моих глазах в Ялте, в ту Москву, которая занимала все его мысли, была для него воистину обетованною землей, в которой сосредоточивалось все то, что было в России самого хорошего, приятного, милого для Чехова. Я видал саратовских патриотов, полтавских, сибирских, но такого влюбленного в свое место, как был влюблен Антон Павлович в Москву, я редко встречал. Это было немножко смешно и немножко трогательно, — более трогательно, чем смешно.

Вот один из многих наших разговоров. Антон Павлович собирается в Москву; я боюсь за него, всеми силами отговариваю его и представляю свои аргументы. — Ведь теперь март месяц, Антон Павлович, — самое отвратительное время в Москве. Все хляби московские разверзнуты.

Я напоминаю ему, что такое московские хляби, и убеждаю, что и самое слово «хляби» выдуманно в Москве и специально для Москвы.

Он сердится и начинает ругать Ялту и говорит, что ялтинские хляби хуже московских. И видно, что ему не терпится, что ему страстно хочется уехать в Москву.

Я начинаю говорить про московскую вонь, про весь нелепый уклад московской жизни, московские мостовые,

кривули узеньких переулков, знаменитые тупики, эти удивительные Бабы Городки, Зацепы, Плющихи, Самотеки, — и чем больше неприятностей говорю я по адресу Москвы, тем веселей и приятнее становится хмурое лицо Антона Павловича, тем чаще смеется он своим коротким чеховским смешком. И видно, что и Самоотека, и Плющиха, и даже скверные московские мостовые, и даже мартовская грязь, и серые мгlistые дни, — что все это ему очень мило и наполняет его душу самыми приятными ощущениями.

Запас сведений о Москве у нас обоих обширен, — мы оба учились в Московском университете, — Чехов вдохновляется и говорит:

— А помните?..

И начинает вспоминать знаменитые пирожки «с лучком, перцем, с собачьим сердцем», которые готовились в грязном переулке на Моховой, кажется, специально для нас, студентов-медиков, работавших в анатомическом театре и химической лаборатории; вспоминает любезные Патриаршие пруды и миловидные Бронные и Козицкие переулки, и морщины мелкими складками собираются вокруг глаз на похудевшем лице, и смеется он веселым, громким, радостным смехом, каким редко смеялся покойный Антон Павлович. И он, умный человек, мог говорить удивительные несообразные слова, когда разговор шел о Москве. Раз, когда я отговаривал его ехать в Москву в октябре, он стал уверять совершенно серьезно, без иронии в голосе, — что именно московский воздух в особенности хорош и живителен для его туберкулезных легких, и, притягивая науку в доказательство, говорил, что нам, врачам, не следует быть рутинерами и упираться в стену и что октябрьская московская непогода может быть даже полезна для некоторых больных легких. Нечего и говорить о Московской губернии и об окрестностях Москвы, — нужно было видеть, с каким восторгом и торжеством над моим неверием и непониманием рассказывал он мне, возвратившись как-то из летней поездки в Московскую губернию, как часами ловил он там пискарей и окуней, как великолепно отхаркивал мокроту, какой развился у него аппетит и как прибыл он там в весе что-то около восьми фунтов за лето.

И все было мило для него в Москве — и люди, и улицы, и звон разных Никол Мокрых и Никол на Щепках, и классический московский извозчик, и вся московская бестолочь. Отдышется он от Москвы и от московского плеврита, проживет в Ялте два-три месяца, — и снова разговоры все о Москве. И все три сестры, повторяющие на разные лады: «В Москву, в Москву», — это все он же один, Антон Павлович, думавший вечно о Москве и постоянно стремившийся в Москву, где постоянно получал он плевриты и обострения процесса и которая, имею основание думать, укоротила ему жизнь.

II

Случалось, мы сговаривались по телефону, и я приезжал к нему по делу, — поговорить об «Яузляре», санатории ялтинского благотворительного общества¹, которым он очень интересовался, об устройстве какого-нибудь народного учителя или земской фельдшерицы, которые приехали лечиться в Ялту без денег; но деловыми вопросами разговор никогда не кончался. Он ждал меня в своем кабинете с рассыпанными по полу газетами, — перечитывал он их великое множество, — с каминном, набитым конвертами и письмами, которых он получал тоже великое множество, и тотчас после деловых разговоров начинал сообщать мне литературные новости, и говорили мы о новых талантливых писателях, появление которых он встречал с таким радостным чувством, о литературных веяниях, о всем том новом, хорошем и дурном, что входило в литературу и искусство. И лицо его оживлялось, и искорки юмора вспыхивали в глазах. Приходилось говорить и о тех конфликтах, которыми полна русская жизнь, и о тех острых и болезненных вопросах, которые давно стоят перед русскою жизнью в их строгой повелительности, но разговор о них недолго продолжался. Лицо его делалось усталым и скучным, говорил он слова скучные и утомительные, приводил какой-нибудь случай из деревенской или обывательской жизни, характеризующий жестокость и некультурность этой жизни, иногда приводил свои заграничные впечатления и охотно переходил на другие

темы, и было видно, что ему скучно говорить и хочется уйти от надоедливой темы и что он не любит острого, требовательного, повелительного. И когда у меня вырывалось резкое, жестокое замечание о каком-нибудь его знакомом литераторе, ему было неприятно, и он начинал оправдывать его и приводить смягчающие вину обстоятельства.

Он стоит предо мною в темном костюме, чуточку сгорбившись, с тихою речью и мягкими манерами, немножко застенчивый. И в небольшом кабинете его есть маленький фонарик, совсем маленький, где может поместиться только коротенький диванчик, и когда Чехов говорит, он любит уходить туда и сидеть на маленьком диванчике. А в большом окне кабинета — разноцветные стекла, чтобы мягче был свет, и против фонарика, над камином, Левитан нарисовал маленькую картину — русская смутная, тихая даль со смутно освещенными стогами сена... И встречал я у него людей добрых и мягких, нетребовательных и неповелительных, и не влекло его к людям строгим, которые остро ставят вопросы жизни и без колебаний отвечают на них...

Я вспоминаю полученное письмо и передаю ему «поклоны», — настоящие московские поклоны, — от знакомых писателей, которые любили его, и Антон Павлович улыбается ласковою улыбкой, от которой молодело и светлело хмурое лицо. И снова говорим мы о литературе и об искусстве, снова оживлялся он и смеялся своим коротким смешком, и румянец выступал на бледных щеках. И забывал он тогда Москву, и свою повышенную температуру, и свое унылое ялтинское одиночество.

Одиночество. Он был окружен нежной заботливостью родных и близких, широким и почтительным вниманием ялтинских людей, и тем не менее он был одинок — ему недоставало привычной, желанной литературной обстановки, широкой и желанной московской жизни.

В личных отношениях Чехов был мягкий, добрый, терпимый, быть может, слишком терпимый человек, но в литературных суждениях был строг, и его отзывы о художественной стороне произведений не знали терпимости. Он ненавидел все сытое, самодовольное, не знающее сомнений, не выносил ничего напыщенного,

риторического, претенциозного и фокусного и был поразительно чутко ко всякой фальши, ко всему лживому, выдуманному, изломанному. Здесь у него были определенные симпатии и антипатии, и были пункты, в которых он был удивительно упорен. Я помню, как несколько раз он старался убедить меня, что Гончаров — устарелый, бесталанный и скучный писатель², и никак не мог понять, почему я, перечитавши Гончарова незадолго до нашего разговора, продолжаю находить его интересным и талантливым. И в этих разговорах чувствовалось, как он любил литературу и что он был воистину писатель в лучшем, высоком русском смысле — в смысле правды, простоты и искренности, которые всегда составляли главную особенность русской литературы.

В доме тихо, и чувствуется одиночество в кабинете с газетами и письмами, и, должно быть, становится совсем тихо и пусто, когда уходит из кабинета гость и остается там одинокий человек с думами о литературе, с мечтами о Москве. И когда я уходил от него, у меня всегда была одна и та же мысль: почему этот, так ищущий людей, человек одинок и почему он, жадный к жизни, с тонким проникновением красоты, — хмурый человек?

III

Мне хочется сказать несколько слов не о Чехове-писателе, а о человеке — Антоне Павловиче. Публика знает веселого рассказчика, каким был Чехов в молодости, и хмурого человека, бытописателя русской скуки, пошлости — позднейших лет. Мне хотелось бы осветить уголок души его, самый теплый и трогательный.

Как-то раз, давно, у нас зашел разговор о прекрасных и удивительных русских словах, — народных словах. Что значит «тоска», как звучит у бабы, только что всунувшей себе нож в грудь, слово «скушно было», какое многосмысленное и полноценное слово «хорошо» и проч., и проч.

Я говорил, что для меня самое удивительное русское слово «жалеть», приводил в пример, что баба никогда

не скажет, что муж любит ее, а ответит: «жалеет...» и иногда прибавит: «больно» жалеет...

И это «больно» вместо «очень» и «жалеть» вместо «любить» не только характерно для понимания своеобразного содержания русской любви, но даже до известной степени определяет русскую литературу. Помню, Антон Павлович необыкновенно воодушевился и рассказал мне случай из деревни, где он жил в Московской губернии, — кажется, в той самой, где жили описанные им «мужики». Назначен был в приход новый дьякон, которого никто не знал. А от старого дьякона осталась сука, которая ошенилась многочисленными щенятами. И то обстоятельство, что новый дьякон не утопил по деревенскому обычаю лишних щенят, а стал кормить, сразу определило положение его в селе. «Пожалел щенят-то!»... — улыбаясь, говорили мужики и решили, что дьякон — человек хороший. И было так много ласки в его обычной, насмешливой улыбке, когда Чехов рассказывал историю про дьякона.

Все, близко соприкасавшиеся с Чеховым, знают, как много доброты и жалости лежало в нем и сколько добра, — стыдливого, хоронящегося добра делал он в жизни. Я помню, какое горячее участие принял он в беде, приключившейся с сыном моего знакомого; и как упрямился он моего знакомого воспользоваться теми обширными связями, которые имел в разнообразных петербургских кругах Антон Павлович. И, кажется, не было для него большего удовольствия, как устроить кого-нибудь, поддержать молодого писателя, дать возможность прожить в Ялте бедному учителю, найти место, занятия...

Хочется мне вспомнить здесь кое-что из рассказов Чехова, — не те веселые и хмурые, которые всем известны, а те, в которые вложены его любовь и жалость к людям и о которых почему-то меньше говорят. Вспоминается Ванька, заброшенный в Москву девятилетний Ванька, голодный, иззябший, вечно избитый, опускающий в почтовый ящик письмо с адресом: «На деревню дедушке. Константину Макарычу»: «Милый дедушка, сделай божескую милость, возьми меня отсюда домой, на деревню, нету никакой моей возможности... Кланяюсь тебе в ножки и буду вечно Бога молить, увези меня

отсюда, а то помру»... И как бесконечный плач, льются горькие, жалобные детские мольбы (рассказ «Ванька»).

Вспоминается «цоцкай», который всю жизнь ходил с бумагами по мужикам и господам, в грязь и метель, тоже голодный и иззябший, от лица которого Чехов говорит: «Мы идем, мы идем, мы идем... Мы не знаем покоя, не знаем радостей... Мы несем на себе всю тяжесть этой жизни, и своей, и вашей. Мы идем, мы идем...» («По делам службы»).

Вспоминается «Тоска», — старик-извозчик, который ищет человека, которому бы рассказать про смерть сына, про свое горе неизбывное; все хочет рассказать своим случайным седокам, своему товарищу, парню-извозчику, и никто не хочет выслушать его, и идет он в конюшню к своей лошади и ей говорит: «Так-то, брат, кобылочка... Нету Кузьмы Ионыча. Приказал долго жить... Теперя, скажем, у тебя жеребеночек, и ты этому жеребеночку — родная мать... И вдруг, скажем, этот жеребеночек приказал долго жить... Ведь жалко?»

Я несколько раз прочитывал рассказ «Тоска», и теперь, когда Чехов совсем ушел из жизни, я вспоминаю судьбу его, вспоминаю всего Чехова, и не могу без волнения читать взятый им к этому рассказу эпиграф: «Кому повем печаль мою?..»

И — так случилось! — именно в последнее, предсмертное время настроение Чехова резко изменилось, — шире, светлее, выше тоном стало на душе его. Жизнь приласкала его, поманила к себе, — и не только славой и дарами ее, не только личным счастьем, но и широкими далями, новыми для Чехова светлыми перспективами. Изменилось его отношение к людям и фактам, иначе, в других красках встал пред ним мир...

В Чехове не было горьковской дерзости, горьковского озорства. Красивый, изящный, он был тихий, немного застенчивый, с негромким смешком, с медлительными движениями, с мягким, терпимым и немножко скептическим, насмешливым отношением к жизни и людям.

И дом свой устроил по своему вкусу, уютный, с маленькими комнатами. Мы начали строиться почти одновременно. Он дразнил меня, называл мой дом, высоко

на горе над Ялтой, откуда открывался великолепный, единственный вид в Ялте на море и на горы — «Вологодской губернией», а я называл его место — «дыра». Мне не нравилось выбранное место в дальней части неспрятно содержащейся Аутки, в ложбине у пыльного шоссе, но у Чехова было уютнее и интимнее, в особенности, когда рассадил он свой прекрасный садик, и пустынное место стало обжитым, забегали по садику две ласковые собачки и торжественно зашагала по двору цапля.

Мы были с самого начала в добрых отношениях. Он сердечно подошел к нашей работе по устройству в Ялте безденежной туберкулезной публики, собирал пожертвования *³, часто обращался ко мне с просьбой устроить нуждающихся больных, которых присылали к нему московские знакомые, но наши отношения долго не делались интимными — мешала политика. Антон Павлович был более чем равнодушен к тому, что волновало меня, и был слишком мягок и терпим к людям, которые были непереносны для меня, и на этой почве у нас возникала иногда временная отчужденность. К нему приезжали разные люди, пестрая публика.

Помню один неприятный случай. Как-то раз я встретил у него Меньшикова⁴, нововременского, уже высказавшегося до конца Меньшикова. Чехов познакомил нас. Оставаться в обществе Меньшикова мне было неприятно, я прождал несколько минут и, отговорившись какими-то делами, ушел, не простившись с Меньшиковым. На другой день Чехов упрекал меня в нетерпимости, в том, что я обидел Меньшикова. В другой раз по поводу беспорядков в Петербургском университете, в которых деятельное участие принимал мой сын, Чехов стал говорить, что эти бунтующие студенты завтра станут прокурорами по политическим делам, а когда я заметил, что в массе эти студенты несомненно будут больше подсудимыми, чем прокурорами, он пренебрежительно махнул рукой и не продолжал разговора.

* Чехов не практиковал, хотя всегда интересовался медициной, но какой-то московский купец, несмотря на все отговорки Чехова, пожелал непременно получить от него совет и заплатил 50 р. Чехов передал нам этот гонорар, долго очень гордился этим и с торжеством спрашивал меня: «Ну, вы, ялтинские врачи, получаете 50 р. за визит?»

Это не значит, что Чехов был ближе к прокурорам, чем к подсудимым, не значит, что он не интересовался общественными делами, что равнодушно проходил мимо того, что совершалось кругом. Он был горячо предан общественной медицине, земскому школьному делу, известно, как много делал он в своем Мелихове, я знаю, как участливо относился он к нахлынувшему бедствию голода. На Сахалин он ездил не как турист ради развлечения. И в Ялте он много и многим помогал, чем мог. Он был чуткий к чужим нуждам, добрый активной добротой и враг лжи, сытого самодовольства, враг обмана и насилия, но человек левитановских пейзажей, настроенный на бунтующей музыки Чайковского, Чехов не любил громких криков, трубных звуков. Ему чуждо было все острое, повелительное, непреклонно требовательное, — ему не сроден был бунт.

И вот пришло время, не стало прежнего Чехова... И случилось это как-то вдруг, неожиданно для меня. Поднимавшаяся бурная русская волна подняла и понесла с собой и Чехова. Он, отвертывавшийся от политики, весь ушел в политику, по-другому и не то стал читать в газетах, как и что читал раньше. Пессимистически и во всяком случае скептически настроенный Чехов стал верующим. Верующим не в то, что будет хорошая жизнь через двести лет, как говорили персонажи его произведений, а что эта хорошая жизнь для России придвинулась вплотную, что вот-вот сейчас перестроится вся Россия по-новому, светлому, радостному...

И весь он другой стал — оживленный, возбужденный, другие жесты явились у него, новая интонация слышалась в голосе.

Помню, когда я вернулся из Петербурга в период оживления Петербурга перед революцией 1905 г., он в тот же день звонил нетерпеливо по телефону, чтобы я как можно скорее, немедленно, сейчас же приехал к нему, что у него важнейшее, безотлагательное дело ко мне. Оказалось, что это важнейшее безотлагательное дело заключалось в том, что он волновался, что ему безотлагательно, сейчас же нужно было знать, что делается в Москве и Петербурге, и не в литературных кругах, о которых раньше он исключительно расспрашивал меня, а в политическом мире, в надвигающемся револю-

ционном движении... И когда мне, не чрезмерно обольщавшемуся всем, что происходило тогда, приходилось вносить некоторый скептицизм, он волновался и нападал на меня с резкими не сомневающимися, не чеховскими репликами.

— Как вы можете говорить так! — кипятился он. — Разве вы не видите, что все сдвинулось сверху донизу! И общество, и рабочие!..

И как-то все перевернулось в нем. О том же Меньшикове он говорил мне:

— Читали вы, что написал этот мерзавец Меньшиков?

Я ответил, что Меньшиков был и есть Меньшиков и что у меня не всегда бывает охота и терпение читать его. А он все волновался и повторял:

— Нет, вы прочитайте, что он в последнем номере пишет.

Стал рассказывать мне о «Новом времени», с которым был связан и о котором раньше нередко упоминал. О самом старике Суворине он редко говорил и, когда говорил, косвенно защищал его. Помню, он мне рассказывал, что возмутительная статья в «Новом времени» по поводу 1 марта, требовавшая чуть ли не четвертования «злодеев», была помещена в газете без ведома Суворина, написана Иловайским, но относительно «Нового времени» он не жалел красок. Рассказывал, какие там дурные люди ведут дело, как там фабрикуется заведомая ложь, как подкупаются сотрудники, как во время дрейфусовского дела переделывались и подделывались телеграммы, получавшиеся из Парижа от их собственного корреспондента, как вставлялись «не» в телеграммы, выбрасывалось нежелательное, ставились просительные и восклицательные знаки — появлялась в газете совсем другая телеграмма с противоположным смыслом.

Здоровье Чехова становилось — в значительной мере, думаю, из-за поездок в Москву — все хуже и хуже, и мне было трогательно и волнующе наблюдать эту просыпающуюся в Чехове веру в близкую новую жизнь, поднимавшееся в нем новое настроение.

Мы вели частые и долгие споры о литературе, но о произведениях друг друга говорили редко и как-то

стыдливо. Только раз, — помню, шли мы куда-то, — глядя в сторону, Чехов неожиданно сказал мне:

— Прочитал ваш рассказ («О, мама!»). У вас там как на виолончели играют.

Тем более поразило меня, когда Чехов, всегда сдержанный в разговорах о своей литературной работе, неожиданно протянул мне рукопись:

— Вот, только что кончил... Мне хотелось бы, чтобы вы прочитали.

Я прочитал. Это была «Невеста», где звучали новые для Чехова, не хмурые ноты. Для меня стало очевидно, что происходил перелом во всем настроении Чехова, в его художественном восприятии жизни, что начинается новый период его художественного творчества.

Он не успел развернуться, этот период. Чехов скоро умер.

Воспоминания писателя (врача по образованию) Сергея Яковлевича Елпатьевского (1854—1933) воспроизводятся по тексту его книги «Близкие тени». Изд-во Т-ва «Обществ. польза», 1909 г., с исключением 3-й главы, не содержащей фактического материала, 4-я глава до слов: «Эта перемена почувствовалась мне тогда» и дальше по книге: С. Я. Елпатьевский, «Воспоминания за пятьдесят лет», изд. «Прибой», 1929 г., стр. 303—307, с некоторыми сокращениями.

¹ Об участии Чехова в ялтинском благотворительном обществе см. С. Бонье, «Из воспоминаний об А. П. Чехове» в «Еженед. журн.» 1914, июль, а также М. Первухин, «Отрывки из воспоминаний о Чехове», «Русское сл.», 1905, № 85 и его же «Чехов и Ялта», «Русское сл.», 1904, № 189. Чехов состоял участковым попечителем о нуждающихся больных.

² О Гончарове Чехов писал Суворину в мае 1889 г.: «читаю Гончарова и удивляюсь. Удивляюсь себе, за что я до сих пор считал Гончарова первоклассным писателем? Его Обломов со всем не важная штука. Сам Илья Ильич, утрированная фигура, не так уж крупен, чтобы из-за него стоило писать целую книгу. А главная беда — во всем романе холод, холод, холод... Вычеркиваю Гончарова из списков моих полубогов».

³ Среди рукописных материалов Чехова в ЦГЛА сохранились две квитанционные книжки за подписью Чехова для сбора пожертвований в пользу туберкулезных больных, приезжавших в Ялту.

⁴ *Меньшиков Михаил Осипович* (1859—1918), фельетонист газеты «Новое время», крайний реакционер.